

НАТАЛИЯ КОСТЮЧЕНКО

ВОЗРАСТ И Я

Эссе

Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни, точно новорожденные, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам ни было лет.

Ф. Ларошфуко

Меньше года осталось до того юбилейного дня, когда “песочные” часы жизни спокойно, но безоглядно и неумолимо, равномерной тоненькой струйкой убывающего времени отсчитают мои пятьдесят.

Возраст чем-то напоминает несамостоятельное, неопытное дитя, которое с момента своего рождения пытается удержаться за руку ведающей все на свете матери – времени.

Мать и дитя – время и возраст. На первый взгляд, такие родственные, неразрывно связанные друг с другом категории. Но различие между ними не имеет аналогов в сотворённом по неким непостижимым для человеческого сознания законам мире. Подобно заданному маршруту, возраст всегда отмеряется началом и концом. Время же ни начала, ни конца не имеет. Есть лишь замкнутый цикл смены времён года: за летом идёт осень, затем зима, за зимой – весна и опять лето. Иллюзия бессмертия... И беспрерывного движения по кругу...

Всё ещё отношусь к своему возрасту легко, без страха и сожалений. Может быть, потому, что нередко слышу комплименты? Кто его знает, каким окажется моё восприятие возраста, когда в зеркальном отражении увижу навсегда утратившее свежесть, изрытое старческими морщинами собственное лицо. Что, если возраст, словно острое лезвие, полоснёт по моей внезапно протрезвевшей душе?

До сих пор для меня возраст отождествлялся с определёнными способностями воспринимать то, что меня окружало и с чем я соприкасалась. Каждый возрастной период был неким своеобразным, мало похожим на предыдущий, континентом ощущений и чувств.

В ту блаженную пору, когда я ещё не умела читать и хоть сколько-нибудь рационально мыслить, я будто невидимой пуповиной была связана с истинным, не искажённым ни своим, ни чужим знанием, многомерным и многогранным миром. Его краски казались ярче и плотнее, звуки – отчётливее и тоньше, а волнение, вызываемое ими, потрясало душу. Тогда, в детстве, меня окружали не просто небо, деревья и травы, а Небо, Деревья и Травы. Всё имело другое величие, другой масштаб и словно благовествовало о том, что мир существует для меня и, может быть, даже возник ради меня. Я ощущала, улавливала это не умом, не мыслями, а кожей. И, исполненная доверия к этому сотворённому для меня миру, не сомневалась: ничто и никогда не сможет омрачить мою радость.

Но когда эта радость при первом же, пусть даже детском испытании, из-за незначительного, на сегодняшний взгляд, удара вдруг разлетелась на крошечные осколки, я поняла, что мир существует не только для меня одной. Что на земле есть множество других людей. И каждый из них имеет такое же исключительное право на этот мир.

Неожиданным потрясением стало осознание того, что им, людям, по большому счёту, нет никакого дела до меня, и, растерявшись, я вдруг почувствовала себя одинокой, незначительной и уязвимой. Так, наверное, появляется на свет, словно цыплёнок, вылупливающийся из яйца, робкое и неокрепшее, только-только начинающее сомневаться и думать “я”, и вместе с ним — “эго”.

Тогда, искренне оправдывая и воспринимая как справедливое это своё “эго”, я не догадывалась, что придёт время учиться распознавать почти каждый из его многочисленных оттенков и, вывернув изнанку мною же искусно упрятанной от посторонних глаз его сущности, до изнеможения, “до крови” сражаться с ним. И с каждой, пусть даже самой незначительной победой над своим “эго”, вглядываясь в других людей, я больше и больше буду понимать: все мы похожи в главном. И эта похожесть — естественна. Потому что общий “архетипный” опыт коренится в каждом из нас, притом достаточно глубоко. Индивидуальное как бы погружено в него. И такая широко распространённая схема (нет человека, который бы в те или другие моменты жизни не воспринимал мир по ней!): “я” — центр, а по периферии — “они”, то есть народ, — сегодня стала для меня неприемлемой. Ведь “я” — это тоже “они”. И все мы похоже радуемся в детстве, мечтаем в молодости и печалимся, когда стареем. Пусть простит меня читатель, но смею думать: аналогичное тому, что чувствовала в том или ином возрасте я, где-то в другом уголке земли чувствовал немец, француз или африканец.

Поэтому, описывая пусть незначительные, но особенные, острые по ощущениям ситуации и события, произошедшие со мной где-то в глухой белорусской деревушке, и в помине не знававшей ни одного иностранного гостя, я не сомневаюсь, что тот же немец, француз или африканец поймёт меня, вдруг обнаружив что-то созвучное моим чувствам и как будто знакомое в собственной душе.

В детстве мне казалось, что небо над моей любимой деревней с её невысокими хатами простиралось во всю ширь земли. Днём оно было то безоблачным, бледно-голубым, то в причудливо клубящихся облаках. Вечером насыщалось тревожащими душу, сгущающимися красками: от сине-фиолетовых до багровых. Ночью небо становилось таинственным и влекущим, особенно когда на нём проявлялись звёзды.

Бывает, во время бессонницы отчётливо видишь то яркое и невозвратное, что когда-то взволновало и до конца твоей жизни удержится в памяти.

Вот я, брат и родители в нашем первом совместном “ночлеге” на днепровской песчаной, поросшей молодыми вербами косе... Папа переправил нас сюда с берега на лодке. Соорудил из лозовых веток шалаш.

Догорал костёр. Вчетвером мы лежали рядышком на душистой свежескошенной траве и смотрели в черневшее небо. И те впечатления от звёздного неба во мне ярче и яснее, чем от первого поцелуя, поступления в институт и даже чем от тех минут, когда впервые я на самолёте взлетела в его бескрайние просторы. Я вспоминаю то ночное небо с гораздо бóльшим волнением, чем многие другие важные события моей жизни.

Тогда я не могла отвести глаз от мерцавших, завораживавших взвездной красотой больших и маленьких звёзд, чёркающих темноту метеоритов, пролетающих самолётов, а может быть, даже и спутников. Папа тихо, загадочным полушёпотом рассказывал о планетах, о непостижимости для нашего познания и бесконечности Вселенной, о вечности. И мне казалось, что я смотрела в Космос из колыбели Земли. И Космос чувствовал меня, безмолвно мигая звёздами. В такие минуты открывается тайна: если в небо смотреть долго, теряешь границу между ним и землей. Или звёзды опускаются, или ты поднимаешься к ним и втягиваешься, втягиваешься бездонной далью...

О, какое же это было счастье — находиться рядом с самыми близкими тебе людьми и, лежа под открытым, бесконечным, полным загадок небом, вдыхать запахи трав и реки.

Днепр с его обрывистыми берегами, в которых ласточки делали свои норки-гнезда, с его плёсами, песчаными косами и отмелями, со старицами и заливыми лугами был самой красивой, самой главной рекой на земле, потому

что он был моей рекой. Мне нравилось смотреть на проплывавшие мимо “ракеты”, катера и баржи, на стремительно наворачивавшуюся, слизывавшую с берегового песка свежие следы волну, на стайки мальков, замиравших в прозрачной воде на прогретой солнцем песчаной отмели. Любила вкус днепровской воды, тогда ещё вполне чистой, которую черпали прямо из реки кепкой или панамкой и тут же, процеживая через свой головной убор, пили. А ещё нравилось, присев на берегу, смотреть вдаль, в ту сторону, куда несла свои воды моя река. К морю. Я представляла, как она ширится и набирает силу. И думала, что вот так же будет шириться, устремляясь в будущее, и набирать силу моя жизнь.

Память... В ней всё: и запахи, и звуки... И даже вкус пищи... Случается, что какое-нибудь одно, пусть даже мимолётное ощущение вдруг возвращает тебя в детство. Причём настолько живо, настолько осязаемо, что воспоминание словно становится реальностью.

Как-то, немного приболев, я заварила полынь и бессмертник. Запах и горечь этого отвара так не нравились мне в детстве... Бабушка выводила меня в сенцы, протягивала кружку с этим горьким лекарством и уговаривала сделать глоток. Я морщилась, отпивая невкусный отвар. Горечь... Помню то неприятное ощущение... Делала глоток через силу.

Сегодня с волнением вынимаю из полотняного мешочка сухую траву, собранную летом. Заливаю кипятком и с благоговением, трепетом настаиваю.

Как пахнет... Родным... Чувствую присутствие бабушки, которой уже более двадцати лет нет на свете. Делаю глоток... Замираю от ощущений... И нет ничего слаще этого горького напитка.

К сожалению, то, что в детстве волновало меня, — тонкое, слитое с невидимой первоосновой бытия, — постепенно стало угасать. И с возрастом это угасание становилось всё заметнее.

Пришло время, и постучался в мой ещё неискушённый, неопытный мир “эрос”, чтобы стать властителем эмоций и страстей, заглушая тихую, нежную мелодию детских чувств. И эти страсти и эмоции требовали душевных сил, всех, без остатка. Серебристый голос детства звучал всё тише и глуше.

И вот теперь, прожив почти полвека, я слышу уже другой голос. Он делает всё ровным и почти безэмоциональным. Хотя ещё по привычке я восклицаю “Как чудесно!” или “Прекрасно!”, но редко чувствую это чудесное и прекрасное. Новый, зрелый голос быстро гасит редкие всплески радости, не позволяя ожидать от судьбы чуда, как бы благополучно ни складывалась жизнь.

Может, в этом мире, сплетённом из всех открытий и достижений человечества, дороже всего маленький бесплотный сгусточек детской души?

Я редко снюсь себе в теперешнем возрасте. Мои сны как будто отказываются воспринимать настоящий возраст и застряли в прошлом. Иногда в своих снах я совсем юная и, радуясь, вижу живыми и полными сил своих дедушку и бабушку, а также многих из тех людей, которых больше нет на этом свете. И нередко, как в молодости, волнуясь от переполняющих меня чувств, тороплюсь на одно из своих первых, далёких, которым больше никогда не повториться в реальной жизни, свиданий.

Человеческая жизнь словно вращается вокруг молодости. Молодость — “осевое время” человека. Только в молодости тебе даётся безусловная вера в себя, предощущение значительного, непременно счастливого будущего, скрывающего невероятные, мыслимые и немислимые возможности. Тайна твоей судьбы пока ещё не раскрыта. Поэтому всё, что впереди, манит и привлекает. И ты чувствуешь своё особое предназначение, избранность.

В детстве я предвкушала молодость, нетерпеливо ждала её прихода (вот вырасту большая!), а сейчас с грустью думаю о ней. И хотя молодость, как принято считать, обладает полнотой сил и возможностей, я с горечью тушу последние угольки её былого, дерзкого и самонадеянного высокомерия.

Впереди — старость. Её приближение я остро чувствую, видя, как стареют, теряют физические силы самые дорогие для меня люди — мои родители. Иногда, мысленно примеряя их старость на себя, боюсь самого страшного — разлуки. Удивляюсь, что так недавно, чуть ли не вчера, им было столько же лет, сколько мне сегодня, а теперь ещё более короткий, можно сказать, ничтожный промежуток времени отделяет мой возраст от них. Вот он где, жестокий и необратимый закон ускорения! Уже не тянутся, а всё быстрее пролетают зимы и вёсны. Теперь ты не только обретаешь в этом неудержимом беге жиз-

ни, но и теряешь. И с каждой очередной потерей всё чаще задумываешься о смерти. Мысли о ней вызывают щемящую, необъяснимую тоску, холод, который сосёт изнутри.

Больше всего я боюсь потерять близких. И этот страх, безотчётный, подсознательный, почти всё время со мной... А в те минуты, пусть и редкие, когда он неожиданно становится пронзительным, перед глазами возникают эпизоды из жизни — обыденные, ничем не примечательные, — но которые теперь, с возрастом, воспринимаются как главное и самое дорогое. Вот мама, ещё молодая, укладывает перед зеркалом в строгую причёску свои длинные русые волосы... Папа, сидя на диване, при свете бра читает газету. Лицо у него сосредоточенное, чуть нахмуренное, серьёзное. Мне не хочется ему помешать, ведь комната родителей — зал — проходная, и только через неё можно попасть в крошечную прихожую, ванную, кухню. Иду мимо него на цыпочках, тихонько, чуть ли не крадучись, чтобы не отвлекать... Вспоминается и наша с братом шестиметровая комнатка-спаленка с диванчиком и креслом-кроватью, одноместной раскладной партой, за которой я школьницей готовила уроки, и с двумя книжными полками на стене. Эта маленькая, небогато обставленная квартирка-полупорка до сих пор снится мне и кажется уютнее, чем нынешняя — просторная, с тщательно продуманным интерьером.

Давние, полузабытые эпизоды возникают перед глазами и исчезают быстро, словно в немом кино. И хотя во всплывающих в памяти мгновениях ничего особенного не происходило, они для меня бесценны. И я люблю до боли, до слёз тех, кто предстаёт в этих мгновенных картинах: маму, отца, брата...

Иногда я думаю, до чего же уязвима человеческая жизнь, сколько всего угрожает ей. Её защищает только тонкая нежная кожа да маленький язычок дверного замка. И ещё — оконное стекло. Оно, правда, вообще не защищает. Недаром говорят: хрупкое, как стекло... А вокруг — полный опасностей мир. Телевизор посмотришь: где-то наводнение, ураган, цунами, астероиды летают, звёзды взрываются, а там война, террористический акт, кого-то убили... Нет-нет, да и промелькнёт мысль: как хорошо, что не меня, не близких моих. И каким призрачным и неустойчивым покажется вдруг благополучие твоё и твоих родных. Оказывается, смерть всегда наготове, рядом, постоянно дышит в затылок... Только ей одной позволено поставить точку в конце твоего земного пути. И только о ней никогда не хочется думать. Кажется, пока о ней не думаешь, ни с тобой, ни с теми, кого ты любишь, ничего не случится.

Но вот уходит знакомый человек. Не близкий. Его, конечно, очень жаль. И вдруг в подсознании, где-то очень глубоко в тебе вспыхнет и потухнет мысль, даже не мысль, а импульс какой-то, совсем не похожий на сострадание: “Не я!” — “Пока не ты”, — соглашается смерть. Однако у чьей-то, пусть даже чужой, могилы больше боишься не за себя, а за того, кто дорог.

С каждой утратой и вызванной ею жгучей, невыносимой болью — стареешь. Да и сами мысли о смерти — первые вестники приближающейся старости.

Хотя, наверно, умение быть старым — особое искусство. В старости больше не требуешь от мира того, чего он не может тебе дать, и обретаешь важнейшее из чувств — смирение. Смиряясь, становишься ближе к Богу. А в этом, может быть, и есть главный смысл человеческой жизни?

Старость — это постоянная встреча с прошлым, которое уже не мечтает, а взыскует, спрашивает с тебя, тычет тебе в глаза, в душу твоими ошибками, слабостями, пороками и упущенными возможностями. Старость, может, для того и нужна, чтобы спросить с тебя за молодость. Ты уже не имеешь возможности сказать: я многого достигну, многое сделаю... Всё перед тобой: вот оно, смотри, что ты сделал, чего достиг. Не из-за этого ли мучительного ощущения несостоявшегося так не любят старость?

Кто-то считает старость унижительным состоянием, напрасно отведённым человеку природой отрезком жизни.

А может быть, старость — это проверка на мужество? Ты становишься немым, сужается твоё окружение, в какой-то степени ты начинаешь чувствовать себя одиноким и неотвратимо приближаешься к черте, за которой — мрак неведения. Нет у тебя ни красоты, чтобы очаровывать, ни силы, чтобы противостоять.

И всё же, по-видимому, неспроста дан человеку этот сложный, последний, но, возможно, самый главный в его жизни период. Время остановиться и время задуматься. Время жатвы и время покаяния. А по большому счёту — момент истины.